

*Андресу Сориа Ольмедо
и Гвадалупе Руис*

Перед расставанием бывает минута,
когда любимый человек уже не с нами.

*Гюстав Флобер. Воспитание чувств**

* Пер. с франц. А. Федорова. — Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.

Глава I

Прошло почти два года со времени нашей последней встречи с Сантьяго Биральбо, но, встретившись вновь — глубокой ночью за стойкой бара «Метрополитано», — мы поприветствовали друг друга так буднично, словно только накануне выпивали вместе, и не в Мадриде, а в Сан-Себастьяне, в баре Флоро Блума, где Биральбо играл долгое время.

Теперь он играл в «Метрополитано», вместе с чернокожим контрабасистом и очень нервным молоденьким французом-ударником по имени Баби, во внешности которого сквозило что-то скандинавское. Группа называлась «Джакомо Долфин трио»; тогда я еще не знал, что Биральбо сменил имя и Джакомо Долфин — не звучный сценический псевдоним пианиста, а то, что значится теперь в его паспорте. Еще не видя Биральбо, я почти узнал его по манере игры. Он играл так, словно не прилагал к этому ни малейшего усилия, будто звучащая музыка не имела к нему никакого отношения. Я сидел за стойкой, спиной к музыкантам, и при звуках пес-

ни, которую тихонько нашептывало фортепиано и название которой я позабыл, меня охватило некое предчувствие — возможно, то смутное ощущение прошлого, которое иногда чудится мне в музыке. Я обернулся, в то мгновение еще не осознавая, что ко мне постепенно возвращается воспоминание о далекой ночи в «Леди Бёрд», в Сан-Себастьяне, где я так давно не бывал. Голос фортепиано почти утонул в звуках контрабаса и ударных, и тогда, невольно окинув взглядом едва различимые сквозь дым лица публики и музыкантов, я увидел профиль Биральбо — он играл с сигаретой во рту, полуприкрыв глаза.

Я узнал Биральбо сразу, но не скажу, что он не изменился. Пожалуй, изменился, но самым предсказуемым образом. На нем была темная рубашка и черный галстук; время добавило его узкому лицу сдержанного достоинства. Позже я понял, что всегда чувствовал в нем это неизменное качество, присущее тем, кто — осознанно или нет — живет, повинаясь судьбе, предначертанной, быть может, еще в ранней юности. После тридцати, когда другие уже ковыляют к упадку, куда менее достойному, чем старость, такие люди все глубже укореняются в своей странной юности, болезненной и вместе с тем сдержанной, в своего рода спокойной и недоверчивой смелости. Иное выражение глаз — вот самая бесспорная перемена, которую я заметил в Биральбо той ночью. Этот твердый взгляд, в котором чувствовалось то ли безразличие, то ли ирония, принадлежал как будто умудренному знания-

ми подростку. И я понял, что именно поэтому выдерживать этот взгляд настолько трудно.

Чуть больше получаса я потягивал холодное темное пиво и наблюдал за Биральбо. Он играл, не склоняясь над клавишами, а, скорее, наоборот — запрокидывая голову, чтобы сигаретный дым не попадал в глаза. Играл, поглядывая на публику и делая быстрые знаки другим музыкантам; его руки двигались со скоростью, казалось исключавшей всякую преднамеренность и технику, будто повинуюсь слепому случаю, по воле которого через мгновение в наполненном звуками воздухе сама собой, подобно синим завиткам сигаретного дыма, возникала мелодия.

Во всяком случае, казалось, что музыка не требует от Биральбо ни внимания, ни напряжения мысли. Я заметил, что он следит глазами за обслуживающей столики светловолосой официанткой в форменном фартучке и иногда они обмениваются улыбками. Он сделал ей знак, и вскоре официантка поставила стакан виски ему на фортепиано. Манера игры Биральбо тоже изменилась за прошедшие годы. Я мало понимаю в музыке и никогда особенно не интересовался ею, но, слушая его тогда, в «Леди Бёрд», я с некоторым облегчением почувствовал, что музыка вполне может быть ясной, может рассказывать истории. Теперь, в «Метрополитано», мне смутно показалось, что Биральбо играет лучше, чем два года назад, но, понаблюдав за ним пару минут, я отвлекся от музыки, заинтересовавшись мельчайшими изменениями жестов:

например, он стал играть с прямой спиной, а не припадая к клавиатуре, как раньше; иногда работал одной левой рукой, отрывая правую, чтобы взять стакан или положить сигарету в пепельницу. Изменилась и его улыбка — другая, не та, которую он то и дело бросал светловолосой официантке. Он улыбался контрабасисту, а может, и самому себе с внезапно счастливым и отрешенным выражением — так, наверное, может улыбаться слепой, уверенный, что никто не поймет и не разделит его радости. Глядя на контрабасиста, я подумал, что такая улыбка — вызывающая и гордая — чаще бывает у негров*. От избытка одиночества и холодного пива на меня стали накатывать озарения: мне вдруг пришло в голову, что этот похожий на скандинава ударник, погруженный в себя и будто непричастный к происходящему, — человек другой породы, а между Биральбо и контрабасистом существует своего рода расовая связь.

Закончив играть, они не задержались, чтобы поблагодарить публику за аплодисменты. Ударник на секунду застыл с растерянным видом, какой бывает, когда войдешь в слишком ярко освещенную комнату, а Биральбо с контрабасистом быстро спустились со сцены, переговариваясь по-английски и улыбаясь друг другу с очевидным облегчением,

* При переводе романа на русский язык слово «негр» было неоднократно использовано в силу решения художественной задачи, а не как отступление от существующих на сегодняшний день норм толерантности и политкорректности. — *Примеч. ред.*

как люди, по гудку закончившие долгую и малоосмысленную работу. Кивнув несколькими знакомым, Биральбо направился прямо ко мне, хотя во время игры ни единым взглядом не выдал, что заметил меня. Быть может, он знал, что я здесь, еще до того, как я увидел его, и, наверное, изучал меня, всматриваясь в мои движения так же долго, как я — в его, и точнее, чем я, угадывая отметины времени. Мне вспомнилось, что в Сан-Себастьяне — мне не раз приходилось видеть, как он бродит по городу в одиночестве, — Биральбо всегда двигался, будто убегая от кого-то. Нечто схожее слышалось тогда и в его игре. Теперь же, глядя, как он идет ко мне, лавируя между посетителями «Метрополитано», я подумал, что он сделался медлительнее и ловчее, будто обрел прочное положение в пространстве. Мы поздоровались сдержанно, как всегда. Наша дружба, пунктиром соединявшая ночи, была основана скорее на совпадении алкогольных пристрастий — пиво, белое вино, английский джин, виски, — чем на душевных излияниях: такого мы никогда — или почти никогда — не допускали. Мы оба почти не пьянели и недоверчиво относились к преувеличенной восторженности и мнимой дружбе, которые приносят с собой ночь и спиртное. Только однажды, уже на рассвете, выпив четыре стакана сухого мартини и потеряв осмотрительность, Биральбо заговорил со мной о своей любви к девушке, с которой я был почти незнаком, к Лукреции, и об их совместном путешествии, из которого он тогда только вернулся. В ту ночь мы оба перебрали. Проснувшись на сле-

дующий день, похмелья я не чувствовал, а был все еще пьян и из рассказов Биральбо ничего вспомнить не мог. В памяти у меня осталось только название города, где должно было закончиться то путешествие, так неожиданно начавшееся и прервавшееся, — Лиссабон.

Мы не стали засыпать друг друга вопросами и подробно рассказывать о своей жизни в Мадриде. К нам подошла светловолосая официантка. От ее черной с белым формы слегка пахло крахмалом, от волос — шампунем. Меня всегда восхищали в женщинах такие бесхитростные запахи. Биральбо, шутя и поглаживая ее по руке, заказал виски, а я спросил еще пива. Потом мы заговорили о Сан-Себастьяне, и прошлое бесцеремонным гостем вмешалось в нашу беседу.

— Помнишь Флоро Блума? — спросил Биральбо. — Ему пришлось закрыть «Леди Бёрд». Он вернулся к себе в деревню, женился на девушке, за которой ухаживал в пятнадцать лет, и получил в наследство отцовскую землю. Мне недавно пришло от него письмо. У него родился сын, а сам он заделался земледельцем. Субботними вечерами напивается в кабаке у своего шурина.

Независимо от удаленности во времени что-то вспоминать легко, а что-то — трудно; воспоминание о «Леди Бёрд» будто ускользало от меня. На фоне яркого света, зеркал, мраморных столиков и гладких стен «Метрополитано» (все это, я полагаю, воспроизводило интерьер обеденного зала в каком-нибудь провинциальном отеле) «Леди Бёрд», этот подваль-

чик со сводчатым кирпичным потолком, погруженный в розоватый полумрак, казался мне теперь несуразным анахронизмом — местом, про которое сложно даже вообразить, что там я когда-то бывал. Этот бар располагался совсем рядом с морем, и стоило только выйти за дверь, как музыка растворялась в шуме волн, разбивающихся о «Гребень ветров»*. И тут я вспомнил: в сознании всплыли блестящая в темноте морская пена и соленый бриз, — и я понял, что та давняя ночь откровений и сухого мартини завершилась именно в «Леди Бёрд» и что это была моя последняя встреча с Сантьяго Биральбо.

— Но музыкант-то знает, что прошлого не существует, — произнес он вдруг, будто опровергая мысль, которую я еще не успел высказать. — Художники и писатели только и делают, что навьючиваются прошлым — картинами, словами. А музыканта всегда окружает пустота. Музыка перестает существовать в тот самый миг, когда прекращаешь играть. Это чистое настоящее.

— Но ведь остаются записи. — Я был не совсем уверен, что понимаю его, и еще меньше — в правоте собственных слов, но выпитое пиво пробудило во мне дух противоречия.

Он с любопытством взглянул на меня и ответил улыбаясь:

— Я записал кое-что с Билли Сваном. Но записи ничего не стоят. Если в них и есть что-то — только

* Peine de los Vientos — скульптурная группа — волнорез, один из символов Сан-Себастьяна.

запечатленное настоящее, да и то, если они хоть немного живые. Но они почти все мертвы. Тут то же, что с фотографиями. Со временем оказывается, что на них одни незнакомцы. Поэтому я и не люблю хранить их.

Пару месяцев спустя я узнал, что несколько фотографий он все-таки хранил, но было ясно, что этот факт никак не противоречит его нелюбви к прошлому, а скорее укрепляет ее — косвенно, и даже немного мстительно, как несчастье или боль укрепляет желание жить, как тишина, сказал бы он, укрепляет правду музыки.

Нечто подобное я слышал от него однажды в Сан-Себастьяне, но теперь он уже не был так склонен к высокопарным утверждениям. Прежде, еще играя в «Леди Бёрд», он трепетал перед музыкой, как влюбленный, всецело отдающийся во власть высшей страсти — во власть женщины, которая то благоволит к нему, то с презрением отвергает, и ему не дано понять, за что даровано или отнято счастье. В те времена я иногда замечал в Биральбо — в его походке, в жестах, во взгляде — невольную склонность к патетике. Прежде она зримо ощущалась; теперь, в «Метрополитано», мне показалось, она исчезла, будто была вычеркнута из его музыки, перестала сквозить в движениях. Теперь он смотрел в глаза и не косился на дверь, если она открывалась. Должно быть, я покраснел, когда светловолосая официантка заметила, что я за ней наблюдаю. Я подумал, что Биральбо спит с ней, и мне вспомнилась Лукреция — в тот единственный раз, когда

я встретил ее на набережной одну и она спросила меня про Биральбо. Моросил дождь, мокрые волосы Лукреции были собраны в пучок, она попросила у меня закурить. Вид у нее был такой, какой бывает у гордеца, который пусть всего на минуту, но очень мучительно переступает через себя. Мы перекинулись парой слов, она попрощалась и бросила сигарету.

— Я больше не поддаюсь на шантаж счастьем, — сказал Биральбо после небольшой паузы, глядя в спину удаляющейся официантке. С того самого момента, как мы оказались рядом за стойкой «Метрополитано», я ждал, что он упомянет Лукрецию, и понял, что сейчас, не произнося ее имени, он говорит о ней. Он продолжал: — Ни счастьем, ни совершенством. Это все католические суеверия. Они въедаются в мозг вместе с катехизисом и песнями по радио.

Я сказал, что не понимаю его, — и в длинном зеркале по другую сторону стойки, мутном от дыма и алкогольного оцепенения, между рядами сверкающих бутылок увидел его обращенный ко мне взгляд и улыбку.

— Нет, ты понимаешь. Ты ведь наверняка тоже, проснувшись однажды утром, сообразил: чтобы чувствовать себя вполне живым, вовсе не нужно ни счастья, ни любви. Это огромное облегчение. И так просто — будто протянул руку и выключил радио.

— Наверное, просто смиряешься. — Я насторожился и перестал пить: испугался, что, если выпью еще, начну рассказывать Биральбо о своей жизни.

— Нет, не смиряешься, — сказал он так тихо, что гнев в его голосе стал почти незаметен. — Это еще одно католическое суеверие. Просто научаешься и начинаешь презирать.

Именно это с ним и произошло и изменило его: в глазах появился острый блеск дерзости и мудрости, холода, какой бывает в пустых помещениях, где явственно чувствуется чье-то скрытое присутствие. В эти два года он научился чему-то, быть может одной-единственной страшной истине, в которой заключен весь смысл его жизни и музыки, — научился одновременно и презирать, и выбирать, и играть на фортепиано с непринужденностью и иронией негра. Поэтому рядом со мной сидел теперь незнакомец; никто, даже Лукреция, не узнал бы его — менять имя и селиться в отеле было излишне.

Часа в два мы вышли на улицу, молчаливые и оцепенелые, покачиваясь с бесстыдством полных выпивох. По дороге к отелю — он жил на Гран-Виа, недалеко от «Метрополитано», — Биральбо рассказывал, что теперь ему удастся зарабатывать на жизнь только музыкой. Зарабатывать на жизнь, не имея постоянной работы и, в некотором смысле, бродяжничая. Он играл по большей части в мадридских клубах, иногда — в Барселоне, изредка наведывался в Копенгаген или Берлин, но не так часто, как в те времена, когда был жив Билли Сван. «Но нельзя же все время воспарять и жить одной только музыкой», — сказал Биральбо, повторяя давнишнее, из прошлых времен, выражение. Кроме

всего прочего, он иногда записывался на студии, участвуя в создании пластинок, которых не мог себе простить и на которых, к счастью, не значилось его имени. «За это хорошо платят, — сказал он. — А когда выходишь оттуда, сразу забываешь все, что играл. Если по радио в какой-нибудь песне услышишь фортепиано — может, это я». И он улыбнулся, будто извиняясь перед самим собой. Нет, неправда, подумал я, никогда уже он не будет извиняться ни за что и ни перед кем. На Гран-Виа, в ледяном свете витрины «Телефоники», он отошел купить сигареты в уличном автомате. Я смотрел на его высокую фигуру: он шел, покачиваясь и спрятав руки в карманы длинного распахнутого пальто с поднятым воротником. Тут я понял, что в нем есть эта мощная притягательность, присущая тем, кто носит в себе историю, и тем, кто носит с собой револьвер. И это не пустое литературное сравнение: у него действительно была и история, и револьвер в кармане.